



Е. И. КОНЮШЕНКО

Горький миф XX века (заметки и размышления о Максиме Горьком)*

Горький многолик: романтический босьяк, первый русский ницшеанец, буреветник революции, критик и оппонент революции, интеллигент-просветитель, охранитель русской культуры во время революции и гражданской войны, наконец, советско-памятниковый, обронзовевший, как казалось еще недавно, навеки — «великий пролетарский писатель». О каждом из этих ликов Горького уже написано немало книг и статей. Но стал ли Горький — один из ярчайших мифов XX века — ближе и понятнее нам на исходе этого века? Другими словами, стал ли понятнее нам этот век, одним из символов которого является Горький? Как русский православный мещанин¹, Алексей Максимович Пешков стал одним из родоначальников совершенно иной, «советской», цивилизации? Как произошла эта метаморфоза с Горьким и целой страной, была ли она необходимой или только случайной? Как возник и так грандиозно, всемирно утвердился этот миф под именем ГОРЬКИЙ? Попробуем хотя бы приблизиться к ответам на эти вопросы.

* Впервые: *Конюшенко Е. И.* Горький миф XX века: (заметки и размышления о Максиме Горьком) // Традиционализм и модернизм в русской литературе XX века / Кемеров. ун-т. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 23–49.

¹ Именно так («нижегородский мещанин») обозначил свою социальную принадлежность будущий борец с «мещанством» в известном письме Л. Толстому от 25.04.1889.

Первый псевдоним (к истоку мифа)

Мне снились героические сны: вот я — атаман разбойников, здоровый молодец в красном кафтане, с ножом за поясом и в меховой шапке набекрень.

Из рассказа Горького «Гривенник»

История — это преступление.

Неизвестный философ XX в.

Первый псевдоним А. М. Пешкова известен, но кажется, никто из исследователей не обратил на него должного внимания. Между тем это новое имя, которое прибавил к своей родовой фамилии будущий писатель, имеет весьма существенный, знаковый характер для судьбы Горького и не только для неё. Первый акт его имятворчества отмечен в автобиографической книге «Детство».

После окончания 2-го класса слободского Кунавинского училища Алеша Пешков был награжден похвальным листом и книгами. Но свой похвальный лист одиннадцатилетний мальчик «испортил какими-то надписями»² (XV, с. 204). Какими надписями? Об этом автор «Детства», уже широко известный тогда в России и в мире писатель, скромно умалчивает. Однако этот любопытнейший документ (на нем первый автограф Горького, первое слово о себе и мире, первый псевдоним, первая сатира) сохранился. Вот он: «Н. С. Кунавинское начальное училище, одобряя отличные перед прочими успехи в науках и благонаравии ученика Алексея Пешкова, наградило его сим похвальным листом в пример другим. Июнь 18 дня 1879 года» (XV, с. 600).

Аббревиатуру «Н. С.» (Нижегородско-Слободское) озорник Алеша сатирически переделал в «наше свинское». Но самое интересное и значительное то, что мальчик приписал к своей фамилии другую — «Башлык»³. Максим Башлык — легендарный атаман поволжских разбойников начала XIX в. Башлыка и его подвиги Горький упоминает в романе «Жизнь Матвея Кожемякина». Отец главного героя рассказывает своему сыну (еще мальчику) историю этого разбойника: «Максим этот, годах в двадцатых, а может и раньше, на верхнем плесе атаманом ходил, Балахну грабил однажды, именитого купца. Зуева вчистую обобрал — семь бочек одного серебра-золота увезли. Молодцов у Максима немного было, а все орел к орлу, и ни одного

² Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: *Горький М.* Собр. соч.: в 25 т. М., 1968–1976, — с указанием тома и страниц в скобках.

³ *Груздев И.* Горький и его время. М., 1962. С. 552.

из них, слышь, не поймали — смекай!» (X, с. 150). Любопытен контекст этого рассказа. Отец убеждает сына в том, что богачи «Воргорода» (какое имя!) — «все разбойники!» Соборный староста, судододец Соковнин — «с Максимом Башлыком товарищем был». Это что-то вроде иллюстрации на русском материале к известной формуле Прудона, восхитившей в свое время Маркса: «собственность есть кража».

О разбойниках (и о Башлыке) рассказывал Алеше его дед. В конце жизни (в 1935 г.) Горький вернется к этой теме. В статье «О сказках» читаем: «разбойников я любил (выд. мной. — Е. К.), дед рассказывал о них так хорошо и похвально, что мне казалось, — жалеет он, что не пошел в разбойники, а на всю жизнь сделался красильщиком»⁴. На эту тему Горький выскажется еще раз с довольно высокой официальной трибуны, на открытии второго пленума правления Союза советских писателей 2 марта 1935 г.: «Мне неоднократно приходилось указывать на ограниченность тематики дореволюционной литературы, дореволюционной буржуазной литературы, которая на самом деле ведь пропустила чрезвычайно много вне линии своей работы и вне своего понимания, — пропустила — хотя бы взять XIX век — пропустила то разбойничество как массовое явление (выд. мной — Е. К.), которое началось в стране после двенадцатого года, после Наполеоновских войн, и продолжалось почти до сороковых годов. Это явление у нас еще не исследовано, мы не знаем старых архивов, мы не знаем вообще того, что делалось, — и судебные архивы того времени могли бы нам показать очень много. Например, разбойничьи шайки верхнего Поволжья (в т. ч. Максима Башлыка. — Е. К.) каким-то образом были знакомы с весьма отдаленными от них идеями, которые когда-то проводили Болотников, Разин, Пугачев, в этом разбойничестве были элементы бунта социального. Разбойники соприкасались с сектантами поволжскими, уральскими, которые помогали им и наживались на них»⁵.

Вот что говорит о Башлыке краевед и горьковед Ф. Хитровский: «Башлык — это прозвище легендарного разбойника, жившего в начале прошлого столетия в Арзамасском уезде. Легендарность Башлыка объясняется его своеобразными разбойными действиями: грабя богатых, он часть награбленного отдавал бедным (русский Робин Гуд — предшественник революционера-большевика. — Е. К.). Любовь к Башлыку простого народа обусловила его многолетнюю неуловимость. Башлыка скрывали простые люди»⁶.

⁴ Горький о литературе. М., 1953. С. 765.

⁵ Там же. С. 775.

⁶ Хитровский Ф. П. Страницы из прошлого. Горький, 1955. С. 61–62.

И последнее, но, может быть, самое важное в этом детском «романе» Горького с атаманом-экспроприатором. По рассказам деда, Башлык был убийцей его отца (т.е. прадеда Горького)⁷. Это новый и весьма существенный штрих в этой истории. Мальчик прибавляет к своей родовой фамилии имя убийцы своего предка, как бы отрекаясь от родича, оправдывая его убийство. Могут возразить: это всего лишь детская шалость, озорство, игра в казаки-разбойники. Но все имена так или иначе воплощаются, особенно те, которые человек избирает для себя сам. Вполне вероятно, что самый знаменитый, главный свой псевдоним А. Пешков сочинил, имея в виду любимого героя своего детства — разбойника Максима Башлыка.

Одного из своих двойников в романе «Жизнь Клима Самгина» — Инокова — Горький сделал боевиком-экспроприатором. Иноков — человек прямого действия, с агрессивной реакцией на зло. Здесь проявилась еще и антитолстовская тенденция Горького — при очевидной ученической зависимости от Толстого (в композиции, в стиле, в портретных характеристиках повторение одной детали и т.д.). Это уже признак советской литературы: взять технику, форму и отбросить идеологию, содержание — т.е. выгнать хозяина из дома и поселиться в доме самому, с новым обиходом, бытом. Л. Толстой мог и, вероятно, хотел прожить жизнь своего героя, отца Сергея, социально, духовно и психологически очень близкого автору, с тем же, что и у Толстого, кругом глубинных душевных помыслов и устремлений (борьба с собственной гордыней как источником греха, отказ от своей воли ради Бога, юродство как святость). Горький вполне мог прожить жизнь Инокова.

Фамилия «Иноков», возможно, навеяна разбойником-монахом Кудеяром из народно-революционной поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Атаман разбойников Кудеяр раскаивается, становится отшельником, послушником, своим разбойничьим булатным ножом перепиливает огромный дуб, чтобы очиститься от грехов. Потом совершает «подвиг»: нож идет в настоящее дело, пронзает сердце жестокого помещика Глуховского. Дуб падает — «скатилось с инока бремя грехов...» — с глубоким удовлетворением заканчивает эту историю Некрасов. Такое революционно-антихристианское понимание «подвига» и «греха» Горький разделял безусловно. Разбойник и в то же время защитник и мститель за всех униженных и оскорбленных, поэтому святой.

Из воспоминаний И. Бунина о Горьком: «Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, — пусть простят

⁷ Груздев И. Горький и его время. С. 552.

мне это слово, воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я немало видал таких походов в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки»⁸. *Походка вора и руки священника*. Бунин был, конечно, субъективен в оценках, но во всем, что касалось физического облика человека, был очень зорок, необыкновенно точен.

Казнь разбойников

Очерк «Разбойники на Кавказе» («Нижегородский листок», 1896) почему-то не вошел ни в одно из наиболее крупных советских (Г-30 и Г-25) собраний сочинений Горького⁹. Хотя по яркости и выразительности созданной картины, по цельности авторского впечатления от увиденного события это настоящая журналистская удача молодого Горького. В 1892 г. в Гори А. Пешков был свидетелем казни двух грузинских разбойников. Впечатления молодого человека, впоследствии отразившиеся в очерке, очень любопытны.

Горького совершенно не интересуют этический и связанный с ним правовой мотив казни (за что, за какие преступления казнят этих людей, правомерно ли и нравственно обоснованно это действие). На первый план выступает момент чисто зрелищный: как ведут себя перед смертью эти люди, как они умирают. Умирают они хорошо, красиво, не боясь смерти, с шутками. Шутит и даже смеется над казнью и толпа зрителей (предсмертная агония висельников напоминает им гурийский танец «хурули»). Под пером Горького эта экзекуция для устрашения, назидания и торжества закона превращается чуть ли не в праздник для души. Самыми же нелепыми, безобразными и даже жалкими существами на этом представлении оказываются исполнители, организаторы казни: палач — «человек с лицом монгола (многозначительный штрих: все социально-историческое зло в России ассоциируется у Горького с Востоком, Азией. — Е. К.), страшно обезображенный сифилисом», «загорелые русские солдатики... со скучными лицами, точно деревянные или вкопанные в землю», наконец, «власти в мундирах, с сухими и строгими физиономиями», которые были «чем-то беспочвенным и чуждым всему, что окружало их».

Религиозно-философское, психологическое углубление этой темы у Достоевского (в романе «Идиот»), лично изведавшего страшный опыт приговоренного к смерти, решительное моральное неприятие смертной казни как узаконенного убийства у Л. Толстого, даже сла-

⁸ Бунин И. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М., 1990. С. 240.

⁹ Перепечатан в кн.: Груздев И. Горький и его время. С. 349–352.

вянское брезгливое недоумение Тургенева («Казнь Тропмана») перед странным, непонятным для русского человека латинским экстазом от вида пролитой крови (зрители-французы сладострастно окунали свои платки в кровь гильотинированного преступника) — все это проходит мимо Горького. Остается же одна яркая, но в сущности примитивная, лубочная картинка: сильные, красивые разбойники и слабая, нелепая, но жестокая власть, казнящая их. Потом «разбойники» превратятся в «революционеров» — граница между этими социальными фигурантами всегда была для Горького условной, относительной. (К вопросу о переходе русской, сложной, литературы к «советской», простой).

В советских концлагерях уголовные преступники официально обозначались как «социально близкие», интеллигенты — «социально далекие».

Осенью 1905 г. Горький не без хвастовства пишет о своей грузинской охране: «у меня сидит отряд кавказской боевой дружины — 8 человек, — все превосходные парни! Они уже дрались и всегда успешно — у Технического училища их отряд в 25 человек разогнал толпу тысяч в 5, причем *они убили 14, ранили 40...* (выд. мной. — Е. К.) Все гурийцы. Видишь — я очень хорошо охраняюсь»¹⁰. В этой чудовищной похвальбе, до Горького в русской литературе невозможной, русский революционер как бы убивает русского писателя. Или иначе: русский революционер превращается в «советского» писателя.

В 1929 г., осматривая колонию для уголовных преступников на Соловках, Горький сделает довольно откровенное признание: «...расспрашивать людей, а особенно “прижатых судьбою в угол”, — я не мастер, и, если сами они не говорят о себе, — молчу. Мешает еще и то, что мне кажется: в каждом из таких “прижатых” есть та или иная доля чувств, которые “во время оно” были свойственны и моему “я”. Воскрешать это “я” не всегда приятно, хотя и поучительно» (XX, с. 219). Вопрос в том, как велика эта «доля чувств» была в Горьком как родоначальнике «советской цивилизации».

Варенька выбирает жениха

В рассказе Горького «Варенька Олесова» (1898) есть удивительный эпизод. Заглавная героиня, молодая девушка, дочь помещика, рассказывает о том, как она влюбилась в конокрада. Полюбила она его связанного, окровавленного, страшно избитого мужиками, за чувство собственного превосходства, которое сквозило в его лице, во всей его фигуре. Русская девушка-дворянка, дочь офицера, ухаживает

¹⁰ Горький М. Собр. соч.: в 30 т. М., 1949–1953. Т. 28. С. 394–395.

за воров, дает ему водки, приказывает обмыть его лицо, молится Богу о том, чтобы конокраду удалось убежать. Собеседник Олесовой, бездарный, слабосильный, по-интеллигентски раздвоенный, амбициозный приват-доцент Полканов (первая версия позднейшего Самгина), в финале рассказа терпящий позорное фиаско в своих любовных притязаниях на эту девушку, спрашивает Вареньку: «Вышла бы она за конокрада замуж?» Та отвечает не совсем уверенно: «За мужика?.. Нет, я думаю!» Но если через несколько лет (как раз ко времени первой революции) сильный, красивый и дерзкий конокрад Сашка Ремезов, сознающий свое превосходство над жадными и глупыми крестьянами (вариация на тему «Челкаша», «Мальвы»), запишется в большевистскую или эсеровскую партию, станет революционером, «героем», то Варенька, совершенно разочарованная в интеллигентных женихах (в рассказе она просто бежит от них), скорее всего изменит свое решение (в истории русской революции такие мезальянсы не редкость).

Полканов у Горького — это слабеющая российская цивилизация, — потерявшая шарм, обаяние силы, недостойная любви женщины, а значит — не заслуживающая родового, исторического продолжения.

Горький примыкает здесь (конечно, своеобразно) к руссоистско-романтической линии русской литературы («Цыгане», «Казачки»). Стряхнуть с души прах «цивилизации», освободиться от «условностей», прильнуть к спасительной, первобытно-природной красоте. И у Пушкина, и у Л. Толстого символом этой новой, иной, «естественной» жизни выступает прекрасная женщина «иных племен» (цыганка, казачка). Но Алеко и Оленин (поздний, слабый отголосок — Полканов, для которого Варенька-Варвара (имя говорящее) — дика, но прелестна, желанна; у Горького нет только романтического антуража — причерноморских степей, Кавказа) в любви к ней терпят поражение. Природа не принимает интеллигенцию, здоровая наивность не терпит унылую, бессильную рассудочность. Странно, что Толстой не заметил образной генеалогии этого рассказа, когда обсуждал его вместе с автором (см. очерк Горького «Лев Толстой»), не увидел того, что Варенька сродни (хотя бы отдаленно) его Марьянке и финальный жест горьковской героини не только оправдан — необходим.

В XX в. вместо цыганок и казачек навстречу революционным алеко и олеиним вышли благосклонные дочери Израиля. Хрупкое, химерическое единство «советской» (русско-еврейской) цивилизации.

Через тридцать лет после горьковского рассказа Д. Г. Лоуренс напишет свой скандально нашумевший роман «Любовник леди Чатерлей», который Горький знал в пересказе М. Будберг. Эротические подробности этой по сути очень целомудренной книги заслонили от современников

главную ее тему: мезальянс как историческое спасение аристократии. Леди становится любовницей, а потом выходит замуж за лесника, бывшего солдата, чтобы сохранить и продолжить жизнь рода (ее аристократический муж-инвалид к этому не способен).

Плебей *естественно* становится джентльменом. Это не политическая, скорее биологическая победа плебея, т.е. победа не идеи, а крови, в конечном счете спасительная для аристократии. Обновление происходит в естественной форме, без ломки традиционно сложившейся цивилизации.

Из очерка Горького «Лев Толстой»: «Гуляли в Юсуповском парке. Он (Толстой. — *Е. К.*) великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновьи ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее. — Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, *многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод* (выд. мной. — *Е. К.*). Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно» (XVI, с. 270). Горький решил напомнить соотечественникам о пользе именно такого «естественного» обновления страны в 1919 г., когда определялись дальнейшие пути русской революции, шла борьба сценариев ее развития. Горький этого времени стоял за путь «естественный» — национально-демократическое обновление страны. У его друга Ленина были совсем другие планы: искусно разжигаемый бунт черни, экспроприация («грабь награбленное»), террор по социальному признаку (истребление высших классов, устранение интеллигенции как идейных конкурентов — честной идейной борьбы большевики не выдерживали), установление диктатуры (военной, политической, экономической, продовольственной, информационной, идеологической), превращение страны в огромную лагерную стройку, в лагерь-завод, лагерь-канал... В конце концов Горький примкнул к победителям.

Большевики не выращивали, а фабриковали свою «элиту», отсчитывали ее на деревянных номенклатурных счетах. В результате их идея продержалась ровно три поколения: гении-демиурги (Ленин, Сталин, Троцкий), реформаторы и охранители (Хрущев, Брежнев) и, наконец, ренегаты-могильщики (Горбачев, Ельцин).

Акушер новой жизни

Для меня революция столь же законное и благодное явление жизни, как судороги младенца в чреве матери...

Из письма Горького С. Венгеру (лето 1908)

В безобразии рождаются новые формы жизни.

И, как рождающееся и становящееся, оно опасно, страшно: как нечто неопределившееся, безобразное может стать всем, чем угодно.

М. Бахтин

Горький ощущал себя родовспомогателем, родоприемником новой жизни. Доктор Макаров («Жизнь Клима Самгина»), врач-гинеколог (при этом девственник), покушавшийся в юности на самоубийство, конечно, автобиографичен (не случайно и переключка его фамилии с именем заглавного героя из автобиографического рассказа «Случай из жизни Макара»). Сложность, противоречивость Макарова также автобиографичны (гностически заостренное, глубокое переживание драмы пола, стремление выйти за грань природно-родовой (половой) необходимости, переживаемой как оскорбление духа, души, личности; тело для Макарова даже не «брат осел», а скорее дьявол, приапически нудящая плоть). При этом профессия и долг Макарова, который он безупречно исполняет — родовспоможение, помощь женщине. В этом романе два двойника, две воплощенные части души Горького — Макаров и Иноков (охранитель и разрушитель).

Первое книжное издание рассказа «Рождение человека», который Горький небезосновательно считал лучшим своим творением — «Случай из жизни Макара. Рождение человека. (Два рассказа)». Берлин, 1912. Такое тематическое соседство образует как бы мистериальный диптих: Смерть и Воскресение. Призрак смерти, стремление к самоубийству и случайное, нечаянное акушерство, вызвавшее вдохновенный гимн новой жизни.

Смысл и оправдание революции с ее жестокостью и кровью только в том, что она порождает новую, прекрасную, лучшую жизнь, нового человека. «Новый человек рождается в крови — такова злая ирония слепой природы. Вы (женщины. — Е. К.) по-звериному кричите в момент родов и — счастливо, с улыбкой Богоматери улыбаетесь, прижимая новорожденного к груди. Я не могу упрекать вас за ваш звериный крик — мне понятны муки, вызвавшие этот вопль нестерпимой боли — я сам издыхаю от этой муки, хотя я не женщина (но акушер. — Е. К.). И я всем сердцем, всей душой хочу, чтобы вы

скорее улыбались улыбкою Богоматери, прижимая к груди своей новорожденного человека России!»¹¹

Вопрос в том, как проходили роды, кто родился, какова судьба ребенка и улыбалась ли Богоматерь, благословляя «новорожденного человека» России?

После революций Горький искал того новорожденного человека, которого принял у орловской крестьянки на берегу Черного моря в 1892 г. Но не нашел...

Монах-большевик (готический Горький)

Русский человек плохо живет, но он твердо верует,
а когда его вера разбита, он умирает.

Из очерка Горького «Поп Гапон»

Из дневника К. Чуковского от 10 марта 1919 г.: «Был у меня Гумилев вчера. Говорили о Горьком. — “Помяните мое слово, Горький пойдет в монахи. В нем есть религиозный дух. Он так говорил о литературе, что я подумал: ого!” (Это мнение Гумилева выразило то, что думал и я)»¹².

Из автобиографии Б. Пастернака «Люди и положения»: «Был в Берлине и Горький. Отец рисовал его. Андреевой не понравилось, что на рисунке скульпы выступили, получились угловатыми. Она сказала: “Вы его не поняли. Он готический”. Так тогда выражались»¹³. Пастернак здесь явно иронизирует, но Андреева, тем не менее, выразилась неплохо: готический Горький.

Из письма Вяч. Иванова (1925) о Горьком: «Часто глубок, похож по душевной проработке и просветленности на человека христианского подвига»¹⁴.

Как это ни странно покажется, но подлинная религиозность, которая в Горьком, несомненно, была и так поразила, например, Гумилева и Чуковского, эта самая религиозность — атрибут не цивилизации, а варварства. Для подлинной веры нужен огромный избыток силы, который порождает эту сверхличную нужду человека в Боге. Такой избыток силы у Горького и у многих (не у всех) большевиков был, но у цивилизованной русской публики конца XIX — начала XX в. он, конечно, отсутствовал. Цивилизованный человек не верует, а исполняет внешне, бездушно, как все — обряд. От такой «религиозности»

¹¹ Горький М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 172.

¹² Чуковский К. Дневники. 1901–1929. М., 1991. С. 102.

¹³ Пастернак Б. Воздушные пути. М., 1982. С. 432.

¹⁴ Горький и его эпоха. Вып. 1. М., 1989. С. 181.

взыскующий града Горький отвращался еще в детстве. А значит, его путь в революцию был предопределен. Два события в его биографии особенно характерны: реакция духовенства на попытку самоубийства и встреча с Иоанном Кронштадтским.

Реакция духовенства на покушение на самоубийство Алеши Пешкова была формальной, казенно-бездушной, «как полагается». Вместо умелого доктора, который должен был выправить этот духовный, душевный юношеский вывих, послали дворника, унтера в рясе, чтобы навел порядок. Результат известен: Пешков пригрозил новым покушением («повешусь на воротах монастыря»), Россия приобрела еще одного революционера. Русская церковь теряла свою паству. Сначала отпала дворянская элита, косяком потрусившая в масонство. Потом пришел черед низших классов, черед Горького.

В. Розанов, который как никто понимал все мировые религии, современное христианство (прежде всего, конечно, православие) воспринимал как религию смерти, религию умирания. Бердяев резонно возражал на это, говоря о том, что Розанов не заметил в христианском вероучении идею воскресения, но случайно ли то, что Розанов этого не заметил, больше интересуясь иудаизмом, сектантством и религиозными культурами древних египтян? Розанов наиболее остро почувствовал обреченность, смертность современного христианства, революция лишь обнажила эти «колоссальные пустоты от былого христианства», куда «проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства».

К. Чуковский об интеллекте Горького: «Память у Горького выше всех других его умственных способностей. Способность логически рассуждать у него мизерна, способность к научным обобщениям меньше, чем у всякого 14-летнего мальчика»¹⁵. Для веры и мифотворчества логика не нужна, а Горький прежде всего мифотворец.

Интереснейший культурно-исторический сюжет: Горький и А. Лосев, попытавшийся (в «Диалектике мифа») разоблачить примитивное, плоское мифотворчество большевизма. Известна реплика Горького в его адрес: полоумный. Два монаха и две веры под небом одной страны — Горький и Лосев. Настоящий, тайно постриженный, православный монах Лосев и советский монах-большевик Горький. Миф большевизма был более понятен, более примитивен. Более понятен для революционеров-инородцев и русских крестьян, пришедших в город — эти две силы сделали советскую историю XX в., поэтому этот миф победил. Возможность обновления страны на национально-православной основе (проект П. Флоренского, А. Лосева) оказалась несбыточной.

¹⁵ Чуковский К. Дневники. С. 133.

Был еще крестьянский, неоязыческий проект революции (Н. Клюев, С. Есенин), который победить не мог, но немало способствовал разрушению российской цивилизации.

Религия большевизма — инославие, ремесничество. Проект большевизма — построить монастырь без Бога.

А ведь в другие времена Горький мог бы стать хорошим, добрым священником или мужественным, самоотверженным монахом-миссионером.

Собственно Горький (символический псевдоним)

У вас все-таки фамилия оригинальная: Глинкин. Глинку напоминает, оперу «Жизнь за царя». А вот если Ефимов, так это уже безнадежно... Все великие люди носили соответственные фамилии: Аристотель, Эмиль Зола, Степан Разин. А если сказать: великий человек — Ефимов — никто этому не поверит...

Из пьесы Горького «Фальшивая монета»

Фамилия героя всегда как-то выражает его внутреннюю сущность.

М. Бахтин

Миф есть развернутое магическое имя.

А. Лосев

Попробуйте отвлечься от реально-исторического содержания, заключенного в этом имени, которое стало легендой и символом XX-го века («Человека» — по несколько высокопарному выражению А. Белого), и как бы с чистого листа вдумайтесь в само слово: ГОРЬКИЙ, МАКСИМ ГОРЬКИЙ. На первый взгляд нелепое, почти комическое впечатление, особенно если привести аналогии: Ефим Кислый, Антон Сладкий... Максим Горький. А если вернуть имя в первоначальное «прилагательное» состояние и сделать его эпитетом: горький романтический босьяк, например. Это звучит еще как будто натурально (ср. горький пьяница), но: горький буреветник революции, горький пролетарский писатель. Это уже смешно (но не весело), безобразно. Однако никто из современников Горького не засмеялся, если не считать полицейских агентов-филеров, у которых писатель проходим под кличкой «Сладкий»¹⁶. Россия ждала Горького... Он должен был появиться и обязательно с таким (или подобным) именем.

Впервые это имя появилось, как известно, в Тифлисе в 1892 г., когда А. Пешков возвращался в круг поднадзорных народников. Вот общепринятая версия рождения псевдонима: «Автор рассказа (Горький. — Е. К.) позднее

¹⁶ Нефедова Н. Ф. М. Горький. Л., 1971. С. 137.

говорил Калюжному: “Не писать же мне в литературе — Пешков”, — видимо имея в виду, что фамилия Пешков намекала на приниженность, убогость (пешка). Воплощением покорности и терпения был и святой Алексей, поэтому молодой писатель «переменил» не только фамилию, но и имя. Нижегородские старожилы утверждали, что он выбрал псевдоним в память об отце, которого звали Максим и прозвище которого за “острый язычок” — было Горький»¹⁷. Положим, сочиняя псевдоним, Пешков имел в виду не только отцами любимого героя своего детства, разбойничьего атамана Максима Башлыка, которого он никогда не забывал (см. выше). Но собственно ГОРЬКИЙ, что это?

В «Жизни Клима Самгина» один из двойников Горького, Иноков, чуть-чуть приоткрывает тайну имени, проговаривается: «Тургенев — кондитер. У него не искусство, а — пирожное. Настоящее искусство не сладко, оно всегда с горчинкой» (XXI, с. 298). Если «настоящее искусство» всегда с горчинкой, то ГОРЬКИЙ — как бы чистое и единственное выражение его, чистое качество — горькая правда, едкая щелочь, кислота разъедающая — прямо в лицо обывателю, «мещанину», кондитеру Тургеневу, всей русской литературе, всей России:

— Нате, ешьте. Сладко?

— Горько!

— То-то. Это вам не Тургенев-безе какой-нибудь. Тут Горький — настоящее искусство.

Это была литературная карьера того времени — плескать кислотой в публику, огорчать ее. Ученик Горького, его маленькая обезьянка — Скиталец, рычал на зрителей, притворяясь большим зверем: «Вы жабы в гнилом болоте...» И это нравилось, вызывало аплодисменты. Позднее Горький будет приветствовать Маяковского, забавляясь и его стихами, и (до определенного времени) его хамскими выходками.

Генетически его псевдоним восходит к сентиментально-народническому, жалкому: Горюхин, Горюшкин, Горемыкин. Отсюда, кстати, заглавие его первой (во многом автобиографической) повести «Горемыка Павел». Это была маска для так называемого «писателя из народа»; нужно было притвориться — жалким, бедным, несчастным, горемычным. В словаре псевдонимов Масанова насчитывается десять литераторов конца XIX — начала XX в. с псевдонимом «Горемыка», еще пять «Горемыкиных», один «Горемычный»¹⁸. А. Пешков работал по уже сложившемуся шаблону и, вполне возможно, сочинил свой самый знаменитый псевдоним с оглядкой на Максима Леонова (от-

¹⁷ Там же. С. 28–29.

¹⁸ Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 1. М., 1956. С. 298.

ца известного советского писателя), выступавшего под псевдонимом Максим Горемыка (ср. Максим Горемыка — Максим Горький). Первый сборник стихов Максима Горемыки «Первые звуки» вышел в 1889 г.

В словаре Даля *горький* — «острый на вкус, едкий, горючий, противоположный сладкому, напр. перец, горько горюч, полынь чисто горька. ... Горький год, бедственный. Горькая жизнь, тяжелая, печальная горемычная. Горький человек, горемычный, нужий»¹⁹. Фасмер происхождение слов «горе» и «горький» связывает с глаголом «гореть»²⁰, что очень существенно не только для понимания личности Горького с его почти пироманической увлеченностью огнем, но и для всей эпохи «восстания масс», эпохи мирового пожара. Горький как символ восставших «горемык» XX-го века, символ «восстания масс». В этом магический ореол его имени.

Массовый психоз переименований начался не после 1917 г., а гораздо раньше — с псевдонимов «мастеров и художников революции». Потом уже поделили завоеванную страну: Петроград — Ленину, Царицын — Сталину, Нижний Новгород — Горькому. Псевдонимы наложились на историю. Получилась псевдо-история, «зигзаг истории» (Л. Гумилев). Сочинить псевдоним — то же, что построить новый мир, новую судьбу для себя и для мира. В начале века многие русские были недовольны своими родовыми именами. За это детское недовольство пришлось заплатить очень дорого.

Академик А. И. Панченко о самозванстве Смутного времени: «В обществе религиозном отказ от своего имени и присвоение чужого (псевдоним — сочинение другого имени, в сущности, это близко к самозванству. — *Е. К.*) переживается крайне болезненно. Человек теряет все, что получил при крещении и наречении, — ангела-хранителя, т.е. небесного помощника и заступника, крестного отца и крестную мать. Он лишается также прав, вытекающих из самого факта рождения, — прав на любовь и поддержку тех, с кем он кровно связан»²¹. Псевдоним (как и самозванство) предполагает новую судьбу и новое родство. И у Горького, и у России в XX-ом веке появились новые родственники.

Псевдоним как маска. Игровые потенции псевдонима. Калька с греческого слова, сделанная Далем — «подыменщик», т.е. тот, кто выступает под чужим именем (под маской). Маскарадность эпохи Горького. Инфернальный карнавал русской революции. Любовь Горького к эксцентрикам, клоунам, фокусникам.

Другие псевдонимы А. Пешкова: Некто X, Паскарелло, один из теперешних, Дон-Кихот, Иегудиил Хламида.

¹⁹ Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1988. С. 383.

²⁰ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1986. С. 440.

²¹ Гумилев Л., Панченко А. Чтобы свеча не погасла. М., 1990. С. 91.

Ангел в плаще, или Иегудиил Хламида

Некоторое время спустя выяснилось, что этот новый сотрудник «Самарской газеты», пишущий в ней ежедневный фельетон на местные злобы, — Иегудиил Хламида. Черт знает что за псевдоним! Надо же было выдумать! Но псевдоним как-то странно шел ко всему обличью вновь прибывшего сотрудника, ко всей этой любопытной фигуре, от которой веяло не одной только наружной «богемой», но и каким-то иным цыганством — странничеством и искательством духовным.

Из воспоминаний А. Тrepлева

- Что вы?
- Скучно. Вас как зовут?
- Иегудиил.
- Вы разве жид?
- Нет, русский...
- Ну, значит, врете...

*Из рассказа Горького
«Светло-серое с голубым»*

Горький был заморожен этим необычным еврейским именем — Иегудиил. Это имя обыгрывается в «Исповеди». У Ионы, персонажа, который наставляет мятущегося главного героя на истинный путь, есть прозвище — «Иегудиил, людям веселый скоморох, а себе самому — милый друг» (X, с. 337). Иегудиил (в пер. с др.-евр. — «хвала божия») — апокрифический архангел, не упоминавшийся в Библии. Здесь не только образный гротеск (ангел в плаще-хламиде), но и гротеск языковой — соединение еврейского и греческого. Этот «гностический» псевдоним, как заметил современник, «странно шел ко всему обличью» молодого Пешкова. (Л. Гумилев считал, что гностицизм — «увлекательная антисистема» — возник в эллинистической Александрии как результат этнических контактов греков и евреев.)

Вечный сюжет мировой истории: пассионарный русский (испанский, французский и т.д.) юноша, слишком взволнованный несовершенством мира, отрекается от своего родства, от своей земли с ее историей и верой, ищет новой земли, нового неба, новых людей, новой правды. Вот тут-то появляются «мастера и художники революции». Во Франции XIII века Горький оказался бы в секте катаров-альбигойцев, первых европейских революционеров, выступающих под пятиконечной звездой против католической церкви и королевской власти. Активнейшими участниками этого движения были провансальские дворяне, потомки еврейских купцов-рахдонитов, покупавших дворянство за деньги.

Новые родственники (Горький и евреи)

Нужным считаю осведомить Вас, что существуют люди, облыжно и неведомо — зачем? — именующие себя родственниками моими; даже из Канады прислали мне семейную фотографию: изображено на ней человек десять обоего пола и все — неоспоримые евреи.

Из письма Горького И. Груздеву

Л. Толстой Горькому: «Странно, что вы его (Лескова. — *Е. К.*) любите, вы какой-то нерусский, у вас не русские мысли... Вот вы, — он обратился к Чехову, — вы русский! Да, очень, очень русский.

Из очерка Горького «Лев Толстой»

М. Горький, по-моему, прекрасный человек, но «захваленный» социалистичками и жидишками.

В. Розанов

Поле этой темы напоминает минное поле. Есть только один-единственный, очень узкий проход, оставленный самими минерами. Малейшее отклонение в сторону грозит взрывом и оторванными конечностями. Но уклоняться придется, хотя это не имеет, конечно, никакого отношения к антисемитизму. Сразу же выставляю основной тезис: советская цивилизация, которая сложилась после 1917 года и продолжает существовать и сейчас, эта цивилизация по преимуществу — русско-еврейская. Без понимания странного и порою трагического «романа» русской души с еврейством мы ничего не поймем в нашей истории XX в.

Евреи — любимцы Горького — это прежде всего революционеры, дельцы и юмористы. Совершенно чужды были евреи, бывшие частью скорее русской, чем какой-то иной культуры, например М. Гершензон. Однозначно враждебно относился Горький к по-европейски цивилизованным русским евреям, которые не принимали ни Горького, ни революции (Ю. Айхенвальд, М. Алданов). С этими последними Горький вообще не церемонился и в письмах называл не иначе как «дегенератами»²², сожалея при этом, «что оба — евреи», т.е. для Горького они позорили свое племя.

В начале октября 1901 г. Горький с воодушевлением сообщает Пятницкому о своем новом замысле: «Завтра я начну другую пьесу. Ее я назову “Жид”. Эту-то я напишу. Я ее здорово напишу, клянусь Вам! Пари — она Вам понравится. Она будет поэтична, в ней будет страсть, в ней будет герой с идеалом — Вы понимаете? Семит — значит

²² Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 29. С. 420.

раскаленный темперамент! — семит, верующий в возможность счастья для своего забитого народа, семит карающий, как Илия! Ей-богу, это будет хорошо (для кого? — *Е. К.*). Егова, если он еще существует, будет доволен мной! А героиня — дочь прачки — демократка! — была на курсах, жена присяжного поверенного, презирающая ту жизнь, которой она живет! Вокруг этих лиц — целое общество провинциального города! Земец, купец, журналист, товарищ прокурора, земский начальник, доктор... — т. е. основные представители тогдашней российской цивилизации. И все они для Горького — все, понимаете? — все сволочь! Все мещане!»²³. Пьесу Горький не написал, но само движение уже закрутившегося революционно-инфернального колеса, превращающего российскую цивилизацию в «сволочь» и поднимающего вверх новых героев и хозяев будущей жизни (русскую демократку, дочь прачки и семита с раскаленным темпераментом), передал хорошо. После октябрьского переворота Л. Троцкий — семит с раскаленным темпераментом, — «карающий, как Илия», и Г. Зиновьев, трусливый палач Петрограда, несколько охладят пыл Горького. А о Троцком Горький даже выскажет свое запоздалое прозрение: «Троцкий — наиболее чужой человек русскому народу и русской истории» (XX, с. 535).

Усыновление Горьким еврейского юноши Зиновия, настоящего сына нижегородского гравера и резчика печатей Михаила Израилевича Свердлова, — жест, если угодно, ритуальный, инициатический. Это как бы акт нового, подлинно человеческого, духовного родства, породнения, преодолевающего ветхозаветный закон крови.

Надпись Горького на своей книге, подаренной приемному сыну: «Духовному сыну моему, заслуженному шовинисту Зиновию Алексею Пешкову. Несчастный отец»²⁴. «Шовинист» — по-видимому, оттого, что Зиновий стал не революционером-интернационалистом, а офицером Французской армии, героем Первой Мировой войны (надпись сделана в июле 1917 г.). Вероятно, поэтому Горький называет себя «несчастливым отцом». Н. Берберова утверждает даже, что З. Пешков был связан с одной из белогвардейских военных организаций²⁵. Сын выбрал другую судьбу, духовное отцовство Горького оказалось призрачным, эфемерным.

Человечного, мудрого, жизнерадостного, талантливого, трудолюбивого еврея Горький во многом выдумал. Эту важнейшую черту его личности (любить выдуманное, вымышленное, сочиненное своей или чужой фантазией) наиболее глубоко понял Вл. Ходасевич. «Еврей»,

²³ Там же. Т. 28. С. 180–181.

²⁴ Лит. наследство. Т. 95. Горький и русская журналистика начала XX века. Незданная переписка. М., 1988. С. 7.

²⁵ Берберова Н. Железная женщина. М., 1991. С. 161.

которого он любил, был во многом продуктом его фантазии, его мечтой о человеке (и даже о Человеке). Реальный еврей с его особой ролью в мировой истории был очень далек от понимания Горького.

Из статьи Горького «Еврейский вопрос» (1906): «Для людей, которые ничего кроме своего “я”, не замечают, для которых все, кроме их собственных грязных потребностей и наслаждений, — трин-трава, для таких людей еврей существо загадочное и ненавистное. Они должны ненавидеть еврея за его идеализм, за то, что, по-видимому, никакая сила в мире не уничтожит его удивительного, все изучающего духа»²⁶. И далее в том же «духе» («идеализм духа, геройский дух, подобный Геркулесу в разрушении всего дряхлого и гнилого, великий еврей Генрих Гейне», — между прочим, с этим именем Алеша Пешков хотел уйти из жизни, что само по себе весьма знаменательно; из его записки перед неудавшимся самоубийством: «В моей смерти прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце») (XIV, с. 573). Наконец, последний удар: «Люди-животные ненавидят людей, зовущих к человеческому существованию». «Люди-животные» — конечно, русское и мировое «мещанство», а настоящего духа. Это напоминает жаргонное размежевание в уголовном мире на «своих» и «чужих», «людей» и «фраеров».

Из письма Горького А. Амфитеатрову (январь 1909): «Шолом-Аши должны много, оттого их и печатают. Мне они тоже осточертели. И — увы — я понимаю настроение А. Белого, понудившее его закатиться в антисемитизм. В самом деле: вы посмотрите, какая это бестактная и разнузданная публика, все эти Мейерхольды, Чуковские, Дымовы, Ол’д’Оры и другие, имя же им — легион! В литературе русской они кое-как понимают слова, одни слова, но дух ее совершенно чужд им. Отсюда такие лозунги, как — долой быт! Это в России. Ввозят и ввозят из Европы “последние крики”, озорничают, шумят, хулиганят. И в конце концов от всей этой их суеты выигрывают одни только антисемиты. Факт! И давно следовало указать на “тот источник антисемитизма”»²⁷. Горький мгновенно избавлялся от своего идеализма, как только евреи становились его конкурентами на литературном рынке. «Быт» — это одна из тем Горького, его важнейший литературный товар. «Долой быт» — это вытеснение Горького с литературного рынка, охаивание его товара. Отсюда такая бурная реакция.

Вообще же Горький в отношениях с евреями выступал прежде всего в роли отца, благотворителя, заступника, учителя. Еврей в его прозе существо жалкое, страдательное («Каин и Артем», «Жизнь одного еврея»,

²⁶ Горький М. Ранняя революционная публицистика. М., 1938. С. 112.

²⁷ Лит. наследство. Т. 95. С. 183.

«Мальчик»). Как отнесся Горький к процессу превращения «забитого народа» в этносоциального лидера России после октябрьского переворота? Революционный радикализм таких большевиков, как Троцкий, был ему враждебен, как и трусливая жестокость Зиновьева, которого он хорошо узнал в Петрограде 1918–1921 гг. Это уже не мечта о Человеке, а реальные евреи-революционеры, делающие в России *свою* историю.

Из рассказа Горького «Карамора» (1924): «Вспомнил Леопольда, первого наставника моего. Маленький голодный еврейчик, гимназист... Чахоточный, в близоруких очках, рожица желтая, нос кривой и докрасна затек от тяжелых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышонок.

Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко срывает он покровы лжи, как грызет внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человеком...

Мне, веселому парню, неприятно было слушать его злую речь. Я был доволен жизнью, не завистлив, не жаден, зарабатывал хорошо, путь свой я видел светлым ручьем. И вдруг чувствую: замутил еврейчик мою воду. Обидно было: я здоровый русский парень, а вот эдакий ничтожный чужой мальчишка оказывается умнее меня: учит, раздражает, словно соль втирает в кожу мне.

Сказать против я ничего не умел, да и было ясно: Леопольд говорит правду. А сказать что-нибудь очень хотелось. Но ведь как скажешь: “Все это — правда, только же мне ее не нужно. Своя есть?”

Теперь понимаю: скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы иным путем. Ошибся, не сказал (выд. мной. — Е. К.).

Я слушал Леопольда с жадностью, с величайшим увлечением, но обижал его. Например — спрашиваю: вы все говорите о европейских капиталистах, а вот о еврейских как будто и забыли?

Он, бедняга, сжался весь, замигал острыми глазенками и сказал, что хотя капитализм интернационален, но для евреев гораздо более, чем капиталисты, характерны и знаменательны враги капитализма — Лассаль, Маркс.

Потом он, с глазу на глаз, упрекал меня в склонности к юдофобству, но я отвел упреки, сказав, что умолчание о евреях замечено не только мною, а всеми товарищами. Это была правда» (XXVII, с. 367–370).

В исповедь Петра Каразина, революционера-испытателя, революционера и провокатора одновременно, Горький вложил немало от себя, от своего разочарования в революции и революционерах. Отразил Горький в этом рассказе и новую этносоциальную реальность, новое соседство: еврей-учитель и русский-ученик (ср. у М. Булгакова Берлиоз — Иван Бездомный, Швондер — Шариков) — свидетельство зарождения новой химерной цивилизации.

К началу 1930-х гг. определились две основные этносоциальные силы, враждебные друг другу: евреи, укрепившиеся в городе в роли новых революционных цивилизаторов России, и русские крестьяне, рвущиеся в город, чтобы сделать карьеру, пробраться во власть, зажечь хорошей, сытой жизнью, в общем, сыграть в эту новую «советскую» игру (особенно характерна, например, судьба Ф. Панферова, сделавшего успешную карьеру советского писателя и крупного литературного функционера). Горький должен был определиться с выбором, кого поддерживать: «культурных», остроумных евреев, хорошо развлекавших, смешивших его (Бабель, Михоэлс — любимцы Горького, он даже просит Сталина устроить опального партийного остроумца К. Радека редактором журнала «За рубежом», совершенно игнорируя при этом уже необратимо изменившийся расклад политических сил), или тяжелых, хитрых и жадных крестьян, о которых он писал еще в 1922 г.: «В сущности своей всякий народ — стихия анархическая, народ хочет как можно больше есть, как возможно меньше работать, хочет иметь все права и не иметь никаких обязанностей»²⁸. Это из статьи Горького «О русском крестьянстве», т.е. под «народом» он здесь подразумевает именно русских крестьян. Не будем забывать и о личном опыте Горького, о его, например, революционно-просветительской деятельности в селе Красновидове, едва не закончившейся гибелью в огне подожженной крестьянами лавки (см. «Мои университеты»), и зверское избиение его херсонскими мужиками за то, что посмел вступить за истязаемую женщину (см. «Вывод»). Отсюда понятно, какой выбор мог сделать Горький. Однако история повернула совсем в другую сторону.

Три судьбы трех русских крестьян в XX-м веке: Н. Клюев, И. Вольнов, Ф. Панферов. Певец крестьянского рая (Клюев), революционер-просветитель (Вольнов) и советский писатель (Панферов). «Горький евреев не любил»²⁹. Интеллектуальный стиль Б. Парамонова — вывернутый наизнанку трюизм: Волга впадает в Эгейское море, лошади кушают шашлык и устриц, Смердяков хороший человек. А. Лосев — клоун. Горький не любил евреев...

*Педагогический миф большевизма,
или Поэтика фокуса (к истории советской цивилизации)*

Из письма Горького А. Руммеру от 19.01.1928: «Культура, как все на земле, создается человеком, воспринимается им. Ведь я, например, тоже не дворянской культуры, а вот научился сносно писать.

²⁸ Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922. С. 5.

²⁹ Парамонов Б. Горький, белое пятно // Октябрь. 1997. № 3. С. 167.

Учитесь и Вы. *Научиться можно всему, надобно только захотеть* (выд. мной. — Е. К.). Вот, в Берлине, одна дама показывает фокусы: обеими руками в одно время пишет на разных языках — английском, немецком, французском — разные фразы. Даже так делает: в руки берет по два карандаша, в зубы — пятый и одновременно пишет пять разных слов на пяти языках. Это совершенно изумительный фокус, и, конечно, он требовал огромного напряжения сил, а вот достиг же человек такой гибкости. *Значит — человек может сделать все, что захочет, нужно только волевое, длительное усилие. Талант? Это — любовь к своей работе, уметь работать*³⁰ (выд. мной. — Е. К.). Эпизод с берлинской фокусницей так захватил воображение Горького, что он рассказал об этом случае еще раз в статье «О том, как я учился писать».

Человек (партия, государство) может сделать все, что хочет, «нужно только волевое, длительное усилие» — это главная установка большевизма, его основной волюнтаристский миф. Варварский утопический волюнтаризм порождает особую атмосферу мрачной иллюзорности, зловещего фокусничества. Появилась новая фигура фокусника-палача. Вера в фокусы стала знаком лояльности к власти, разоблачение фокуса — преступлением. Послевоенный разгром генетики, например, и победа фокусника Лысенко (главный его труд — «переделка природы растений») глубоко закономерны и поучительны. Наука, которая строится на признании наследственных свойств клетки, ломала основную конструкцию большевистского мифа. У клетки (природы) есть своя история (наследственность), от которой человек зависит по крайней мере не меньше, чем от истории социально-экономической, политической и т. д., т. е. от истории человеческих воль. Для большевика-волюнтариста это настоящая ересь, ограничивающая его возможности для грандиозных экспериментов по воспитанию «нового человека» или «переделке природы растений».

Горький в письме к А. Амфитеатрову (январь 1911) просит поддержать «Общество для помощи писателям-самоучкам». Амфитеатров в ответном письме называет Горького «романтиком», говорит о своем персонаже, молодом энтузиасте из романа «Восьмидесятники», который организовал общество «Ломоносов» для помощи самородкам из народа (из этой затеи, конечно, ничего не вышло). Наконец Амфитеатров высказывает сомнение в целесообразности самой идеи Горького: «Да разве есть писатели не самоучки? Где они, эти культурные учреждения, общества, школы и пр., в которых готовятся и могут наверняка фабриковаться писатели?»³¹

³⁰ Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 30. С. 66.

³¹ Лит. наследство. Т. 93. С. 274.

Здесь как бы встретились ирония цивилизации и энтузиазм утопического варварства («научиться можно всему, надо только захотеть»). А по-настоящему Горький ответит Амфитеатрову только через двадцать лет, когда в 1933 г. будет открыт Вечерний рабочий литературный институт (позднее, с 1946 г., — Литературный институт им. А. М. Горького) именно для этой цели — подготовка и фабрикация советских писателей. Ответом Амфитеатрову можно считать и горьковский журнал «Литературная учеба» (1930) для «социалистического воспитания молодежи, обучения ее литературному мастерству». Насколько Амфитеатров как корреспондент и собеседник интереснее, тоньше, значительнее, богаче (язык, эрудиция) Горького, прямолинейного, безвкусного, постоянно острящего, но неостроумного, без конца критиканствующего... Но вот Амфитеатров канул в небытие, а Горький стал родоначальником новой цивилизации, бронзовым идиолом (на 50 лет) для поклонения, восхищения и подражания.

К истории создания романа «Жизнь Клима Самгина»

Первую мысль о создании эпопеи на материале русской жизни конца XIX — начала XX в. подал Горькому, по-видимому, Амфитеатров в письме от 4.12.1912: «Ответственность и ужас потягаться с Толстым велики, но новый роман нужен. Уж очень много новых данных открыто и накопилось с тех пор, как писал Л. Н. свою эпопею»³². Амфитеатров перебирает возможных авторов будущей книги. Отвергает, между прочим, Л. Андреева («очень мещанин с песенником жестоких романсов»). Предполагает: «может быть, Бунин или новый Толстой (А. Н. Толстой. — *Е. К.*), если вырастет. Вас (Горького. — *Е. К.*) не считаю: за Вами Стенька Разин числится в долгу». Однако спустя 13 лет именно Горький взялся за эту работу и сделал ее в целом неудачно (Амфитеатров оказался прав). Написать хронику национальной жизни за 40 лет, глядя на Россию глазами большевика-интернационалиста, — невозможно. Вышло что-то другое, «соцреалистическое», фокусническое.

Очень интересно еще одно суждение Амфитеатрова в письме Горькому от 2.11.1912: «прошлогоднее мое изучение 1812 года разбило мне сорокалетний мираж “Войны и мира”: красочно и художественно, что и говорить, но — барином писано, барское и вышло. А народа нет. Народ-то Платоном Каратаевым оказался»³³. Однако «барин» сумел написать национальную эпопею, а вот у Горького — «человека из народа», — нет, не получилось!

³² Там же. С. 242.

³³ Лит. наследство. Т. 95. С. 385.

*Автопортрет Горького
в романе «Жизнь Клима Самгина»*

«На скуластом лице его (Инокова. — *Е. К.*), обрызганном веснушками, некрасиво торчал тупой нос, нервно раздувались широкие ноздри, на верхней губе туго росли реденькие, татарские усы. *Взгляд голубых глаз часто и противоречиво изменялся — то слишком, по-женски, мягкий, то неоправданно суров* (выд. мной. — *Е. К.*). Выпуклый лоб уже изрезан морщинами» (XXI, с. 281). Ср. наблюдение К. Чуковского: «У Горького два выражения на лице: либо умиление и ласка, либо угрюмая отчужденность»³⁴. Это выражение лица Горький передал своему двойнику, Инокову.

Горький и Достоевский

Если согласиться с тем, что Ницше всего лишь герой Достоевского, то какой тогда герой — Горький? По-видимому, все братья Карамазовы, включая Смердякова (наивное западничество Горького), в одном лице. Стихийность, непосредственность Дмитрия, богоборчество Ивана, но основной акцент все-таки падает на Алешу (здесь еще магия общего имени), окруженного детьми, с его бескорыстным наставничеством, благотворительностью, любовью к детям (в Нижнем Новгороде Горький устраивал елки для нескольких тысяч бедных ребятишек). Можно вспомнить и других героев, хотя бы Шатова, особенно в период увлечения Горького «богостроительством»; Бог — «народушко» и т. п.). Ненависть Горького к Достоевскому — это ненависть к отцу, к Богу, ненависть героя к своему автору. Такая ненависть всегда соседствует с благоговением и раскаянием. Иногда это подлинное, глубинное чувство прорывалось сквозь все те злобные глупости, которые Горький успел наговорить о Достоевском. Из воспоминаний А. Золотарева: «Помню выразительный жест Алексея Максимовича во время беседы о Достоевском. Говорилось о монолитности, монументальности трагика-романиста, о словесной магии его гения. Горький сидел молча и вдруг, грозя кому-то кулаком, сказал:

— Там разные милостивые государи в Москве убеждают себя и других, что Горький Достоевского в грош не ставит, а Горький закидывает голову вверх и замирает в молитвенном экстазе, — вот он как на Достоевского смотрит»³⁵ (как на Бога-Отца. — *Е. К.*)

³⁴ Чуковский К. Дневники. С. 101.

³⁵ Лит. наследство. Т. 95. С. 688.

Спор с Достоевским в романе «Трое». В расстановке и распределении героев в романе «Дело Артамоновых» ощутимо влияние «Братьев Карамазовых». Горбун Никита, который уходит в монастырь замалчивать грехи семьи, напоминает Алешу Карамазова. Алексей своей стихийностью — Дмитрия. Петр со своей раздвоенностью, неуклюжей рефлексией, поиском смысла жизни — бледная тень Ивана. Наконец, Тихон Вялов — это горьковская вариация Смердякова (таинственность, недоовоплощенность, роль всепонимающего свидетеля и судии семьи Артамоновых). Финальная сцена романа Горького напоминает последний разговор Ивана Карамазова со Смердяковым.

**Сила как красота,
или Поэзия варварства (Варварские сюжеты Горького)**

Мы рубились мечами в пятьдесят одной битве. Много
пролито нами алой крови врагов! Мы живем только в бит-
вах, мы хотим только славы...

*Из рассказа Горького
«Возвращение норманнов из Англии»*

Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!

Из «Песни о Соколе»

Мы живем на земле чужие всему... мы не умеем быть
нужными для жизни людьми. И мне кажется, что скоро,
завтра, придут какие-то другие, сильные, смелые люди
и сметут нас с земли, как сор...

Из пьесы Горького «Дачники»

Всю историю человечества можно представить как борьбу и смену

ЦИВИЛИЗАЦИИ	ВАРВАРСТВА
ставшего	становящегося
порядка	силы
размеренного, традиционно-охранительного	стихийно-творческого, хаотически-произвольного
старого, бывшего	нового, небывалого
«гармоничного»	«пассионарного» (по Л. Гумилеву)
обывательского	героического
прозаического	поэтического
научного	мифотворческого

Варварство становится цивилизацией и снова падает перед новым варварством. Посредствующее звено между варварством и цивилизацией мы называем культурой. Предложенная схема в целом соответствует (с некоторыми оговорками) известной триаде К. Леонтьева: первоначальная простота (варварство), цветущая сложность (культура) и вторичное упрощение (цивилизация).

Для цивилизованного древнеримского гражданина времен упадка первые христиане, жертвующие жизнью ради веры, несомненно, варвары. Но уже для Ницше все западное христианство — дряблая, бессильная и безобразная цивилизация.

Еще не написана история превращения большевистского варварства в советскую цивилизацию. Горький имеет к этому превращению самое непосредственное отношение. <...>

Из дневника Б. Садовского: «В деле революции много значит психическая усталость, граничащая с физической. Прошлое тяготит людей, как кожа змею, и хочется сбросить все. В эпоху Возрождения бросают латы и культ прекрасной дамы, в 1789 — пудру, красные каблук и религию и т. д. Помню, как после 1905 г. формы внешней жизни сразу *упростились* (выд. мной. — Е. К.): на балах танцевали без перчаток, на конвертах стали писать Е. В. Б. вместо полного титула (оставался шаг до реформы орфографии и потока уродливых аббревиатур. — Е. К.), исчезла торжественность и ритмичность жизни»³⁶.

Один из роковых пороков российской цивилизации конца XIX — начала XX века Горький переживал как острейшую личную драму. Последним толчком к покушению на самоубийство 12 декабря 1887 стал эпизод, рассказанный в повести «Мои университеты»: «Зайдя в крендельную Семенова, я узнал, что крендельщики собираются идти к университету избивать студентов:

— Гирями будем бить! — говорили они с веселой злобой.

Я стал спорить, ругаться с ними, но вдруг с ужасом почувствовал, что у меня нет желания, нет слов защищать студентов.

Помню, я ушел из подвала как изувеченный, с какой-то необоримой, насмерть уничтожающей тоской в сердце» (XVI, с. 83).

Уничтожающая тоска в сердце Горького — от понимания ужасного разрыва между физической силой и интеллектом страны (противоестественная вражда «головы» и «рук»). Слабели и падали скрепляющие символы российской цивилизации, объединяющие различные сословия в единую этносоциальную целостность. В рассказе «Сторож» Горький покажет этот разрыв еще более уродливым («почти племенная,

³⁶ Садовской Б. Заметки. Дневники // Знамя. 1992. № 7. С. 177.

во всяком случае внутренняя, разобщенность... интеллигенции — как разумного начала — от народной стихии»).

Причина неудачи коммунистического проекта в России: большевистское варварство не смогло преобразоваться в полноценную устойчивую цивилизацию, как варварские королевства на руинах Римской империи преобразовались в цивилизации Запада. Большевики не смогли сродниться, стать по-настоящему русской, российской властью; не смогли избавиться от комплекса нераскаявшегося преступника. «Оливка не смеет стать дубом» (К. Леонтьев). Утопическое варварство не сумело, хотя силилось, стать цивилизацией.

Варварские сюжеты Горького. Из «Сказок об Италии»:

Невестка убивает топором свекровь за ложный навет о ее якобы измене мужу. Жители деревни (и Горький, конечно) готовы оправдать убийцу, но вмешивается архиепископ (носитель христианской, а не варварской «правды»). В этой же «Сказке» муж расправляется с женой и своим отцом, совратившим сноху (см. также русский вариант «снохачества» в рассказе «Птичий грех»). Суд, к восторгу односельчан, оправдывает убийцу. Затем эти несчастные мужчина и женщина (убившая свекровь) сходятся и пытаются устроить новую жизнь (уехать в Америку). Но их противником (и опять с топором в руках) выступает мать женщины; в церкви она нападает на незадачливого любовника своей дочери и тяжело ранит его. Казалось бы — та же самая (только итальянская) «окуровщина». Но для Горького эти события как-то ярче, эффектнее освещены итальянским солнцем, и он находит здесь какую-то странную поэзию.

Мать дает яд своему сыну-уроду. Интересна мотивировка сыноубийства. Мать не может смириться с тем, что для иностранцев ее сын олицетворяет национальное вырождение, материнский инстинкт отступает перед так своеобразно понятым патриотизмом.

Схожий сюжет в следующей сказке. Мать приходит из осажденного города в стан врагов, предводитель которых — ее сын. Во время встречи и материнских ласк, когда голова сына покоится на груди матери, та «воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо знала, где бьется сердце сына». Потом мать убивает себя.

Молодой итальянец убивает подлого соперника греческого происхождения за то, что обманом он пытался заполучить расположение его любимой девушки. Попутно Горький делает довольно злобный выпад против восточного христианства («Греков крестил черт для того, чтобы запутать все дела христиан», — жест характерный для Горького-революционера того времени, отрекающегося и чернящего «свое» и превозносящего, поэтизирующего «чужое»). Затем благородный итальянец совершает очень красивый и в высшей степени варварский

поступок, в духе рыцарских легенд средневековья: отрубает руку, которой ударил свою возлюбленную, поверив клевете, и отправляет кисть руки своей прекраснейшей как знак полного раскаяния...

Сказка о милом итальянском воришке Пеле была включена в школьные советские хрестоматии для обязательного прочтения. Самое интересное здесь — легкое, игривое (советское!) отношение к собственности. Пеле крадет брюки у богатого американца, нисколько не сомневаясь в собственной правоте, потому что, «когда от многого берут немножко, это не кража, просто дележка!» Сформулировано с поистине большевистской (варварской) простотой как по форме («Ведь это песня!»), так и по содержанию. Такой стишок мог бы сочинить Маяковский во время гражданской войны и экспроприации для какого-нибудь агитплаката: мускулистый рабочий вытряхивает деньги из толстого буржуя с тростью и в котелке, держа того за ноги вниз головой. Подпись:

Когда от многого
берут немножко,
Это не кража,
а просто дележка!

Стихотворный сюжет из «средневековой» жизни («Баллада о графине Элен де Курси»). Прекрасная бретонская графиня подобно новой Клеопатре, продает любовь за жизнь любовника. Но делает это ради Христа, приносит в жертву Богу свою чистоту. Избранником такой любви «во Христе» стал слепой нищий. После совокупления с ним графиня приказывает убить любовника. Потом убивает убийцу-пажа («Сбросила с моста ребенка / В зеленую воду рва»).

Этот глубоко кошунственный текст, написанный еще в 1896 г., Горький опубликует во время «свободы», после Февральской революции. 1937 г. — это опыт преобразования большевистского варварства в советскую цивилизацию, когда революционеры-демиурги должны были стать просто чиновниками, служащими, колесиками и винтиками новой цивилизации (или умереть). Изменился поведенческий стереотип: герои должны были не столько подчинять, сколько подчиняться. По-своему гениальная художественная иллюстрация этого поворота — фильм братьев Васильевых «Чапаев» (1934), в котором созданы почти аллегорические фигуры: народно-революционная стихия (командир Чапаев), укрощаемая и преобразуемая революционным разумом (комиссар Фурманов).

Через 20 лет после революции революционно-героическое варварство стало превращаться в полицейско-мещанскую цивилизацию (вроде Женевы Кальвина XVI века).

Глядя на фотографии

Сорренто, 1924 г. На балюстраде фонтанчика сидят две пары: Горький и М. Будберг, Вл. Ходасевич и Н. Берберова. Насколько различны эти люди, оказавшиеся вместе, насколько они связаны... Ходасевич оставил самый, пожалуй, глубокий и тонкий мемуарно-исследовательский очерк о Горьком, Берберова написала о Будберге книгу — «Железная женщина». И вместе с тем между этими людьми какое-то глубинное, почти что расовое несходство: плотная, большелица, улыбающаяся Будберг, обаятельнейшая авантюристка своего времени; широкоплечий, костистый Горький, с солдатскими усами, рядом с Ходасевичем и Берберовой — худенькой женщиной-девочкой, барышней из хорошей семьи.

По странному капризу русской судьбы эти люди оказались вместе. Символическое соответствие этой фотографии: огонь и зеркало огня, эпические герои вместе со своими распадами-истолкователями, если угодно — стихия и цивилизация, наивная творческая сила и обымающая ее рефлексия (сама по себе бесплодная). Кто делает историю и кто ее пишет? Между этими субъектами всегда есть зазор, иногда небольшой, иногда (в XX веке) огромный.

Мещане и «мещане» Горького

Геноцид против сословий, образующих российскую цивилизацию, был направлен не только против дворян, священников, купцов и предпринимателей, но и против горожан низкого и среднего достатка — мещан. Этому классу российских граждан особенно не повезло еще и потому, что мещане были репрессированы не только социально, но и, так сказать, лингвистически. В русско-советских словарях слово «мещанин» приобрело устойчиво отрицательное значение: «мещанин — “человек с мелкими интересами и узким кругозором”»; мещанин — “человек с мелкими, сугубо личными интересами и узким кругозором и неразвитым вкусом, безразличный к интересам общества”»³⁷. История превращения этого слова в позорную кличку началась задолго до 1917 г.

В словаре В. И. Даля «мещанин» — «горожанин низшего разряда, состоящий в подушном окладе и подлежащий солдатству; к числу мещан принадлежат также ремесленники, не записанные в купечество». Это сословие русских горожан, выплачивающих основные налоги

³⁷ Ожегов С. Н., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993. С. 364.

(подушный оклад) и составляющих ядро русской армии, ее унтер-офицерский костяк, т. к. мещане, как правило, были грамотными и относительно образованными людьми по сравнению с основной солдатской массой из крестьян. Первым запустил камень в русских мещан А. И. Герцен. Но это случилось, может быть, помимо его воли, поскольку Герцен употребил это слово в отрицательном значении только в адрес западноевропейского «мещанства» середины XIX в., т. е. в адрес уже вполне сформировавшейся и начавшей господствовать в Европе *буржуазии*. «С мещанством стираются личности, но стертые люди сытее. С мещанством стирается красота породы, но растет ее благосостояние»³⁸. Русский революционер-аристократ был удручен картинами буржуазного Запада не столько даже как революционер, сколько как аристократ, эстет, тонкий ценитель прекрасного. Буржуазный стиль вызывал эстетическое отвращение. Здесь, кстати, с ним был вполне солидарен такой его идейный оппонент, как К. Леонтьев.

Но в России была совсем другая картина. В России «мещанство» — это не буржуазия, а податное сословие («низший разряд горожан»), которое платит налоги, служит в армии, подвергается телесным наказаниям (до середины XIX в.), занимается ремеслом и мелкой торговлей, работает по найму. В России мещанин по своему социальному статусу был ближе скорее к пролетарию, чем к буржуа. Откуда же такая ненависть к мещанству? Очевидно, «что ребята не разобрались», произошел семантический сдвиг, перенос смысла с Запада на Восток, слово потеряло свое прямое значение, превратилось в позорную кличку, общее обозначение врага, чужака, не нашего. «Мещанин» — это мракобес, обскурант, реакционер, предприниматель, который не дает деньги на революцию, священник, обличающий пропагандиста, всякий начальник, честно исполняющий свои обязанности, интеллигент, отвергающий революционную идеологию и т. д. Эта революционно-интеллигентская мифология окончательно оформилась в начале XX в. в книге Р. Иванова-Разумника «История русской общественной мысли», в которой вся история русского общества XIX в. представлена как борьба прогрессивных революционеров и писателей (светлое воинство) с «мещанством» (темной силой). А свое художественное выражение этот миф получил в творчестве Горького и других советских писателей <...>. Круг замкнулся, мещанин, исчезнув из реальности, стал позорной кличкой в русско-советском новоязе.

Если революционную деятельность рассматривать как некоторую девиацию, отклонение от нормы, то тогда оппозицию «мещанин — революционер» можно трактовать как «норма — антинорма». Вообще

³⁸ Герцен А. И. Письма издалека. М., 1981. С. 272.

всякая история революции — это история чудаков и монстров (чудак и чудовище, монстр, в русском языке происходят из одного корня). Деванты всех мастей вызывали огромный, жгучий интерес у Горького. Это, конечно, не случайно: подобное, как известно, стремится к подобному. Некоторые персонажи этого типа описаны в его прозе. Вот, например, друг Горького Николай Васильев, изображенный в рассказе «О вреде философии». Васильев был большой оригинал, ученый-химик, один из первых в России переводчиков Ницше (От него Горький впервые услышал об идеях «превосходного немецкого пиротехника»³⁹ и своеобразно воплотил их в своем творчестве). Но, «как почти все талантливые русские люди (Васильев. — *Е. К.*), имел странности, ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин — весьма вкусное лакомство. А главное — полезен, укрощает буйство “инстинкта рода”. Он вообще проделывал над собой какие-то небезопасные опыты, принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. ...Этим опытом Николай испортил себе все зубы, они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что — намеренно или нечаянно — отравился в 1901 году в Киеве, будучи ассистентом профессора Коновалова и работая с ивдигоидом» (XVI, с. 196–197). Этот Базаров 1890-х годов, если бы не умер так рано, скорее всего оказался бы у большевиков и проводил опыты не над собой, а над целой страной, — этим ведь занимались большевики в России более полувека.

Или вот еще один чудак — один из первых русских марксистов П. Н. Скворцов, изображенный Горьким в очерке «Время Короленко». «Он был поистине человек “не от мира сего”. Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и при этом еще заботился о “сокращении потребностей” — питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день (около 150 г. — *Е. К.*) — не больше и не меньше. Этот опыт “рационального питания” вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек» (XVI, с. 191–192). Объялся чудак марксизмом и стал питаться одним сахаром. Позднее эти чудачки станут властью в России и заставят всех питаться одним «сахаром» — марксизмом-ленинизмом.

Испытывая жгучий интерес к девиантам, маргиналам, чувствуя определенную близость и родство с людьми этого типа (Алеша Пешков в детстве занимался ветошничеством, собиранием отходов — костей, тряпок, металлического лома, в юности несколько лет вел жизнь нищего бродяги, босяка), Горький до конца себя с этой публикой все же

³⁹ Выражение Горького из очерка «Савва Морозов» (XVI, с. 510).

не отождествлял. У него были и другие, прямо противоположные симпатии — к людям, которые добились большего жизненного успеха благодаря своей энергии и предприимчивости, — купцам, промышленникам, фабрикантам. Такая контрастная раздвоенность симпатий проявилась уже в романе «Фома Гордеев» (1899), в котором сочувствие автора колеблется между заглавным героем — явным девиантом, отщепенцем и неудачником, выступающим в роли обличителя своего, купеческого сословия, и Яковым Маякиным — идеологом и апологетом российского предпринимательства. И отношение Горького к Октябрю во многом объясняется этой сложной, контрастной комплиментарностью. Октябрьский переворот, гражданская война, красный террор, экспроприации — было делом распоясавшейся черни, солдат-дезертиров, бандитов, девиантов всех мастей вкупе с идейными маргиналами-интернационалистами со всего мира. Даже для Горького это было уже слишком. Он, как известно, поссорился с Лениным — свирепым, беспощадным чудачком, чудовищем — и поехал в эмиграцию. Позднее, когда эта красно-черная стихия несколько унялась (точнее, затаилась на время) и наметилась определенная тенденция от разрушения к созиданию (какого рода было это созидание и какова его цена — это другой вопрос), Горький с большевиками помирился и стал тем, кем он стал — бронзовым идиолом новой, советской цивилизации.

В пьесах Горького преобладает элемент подрывной, изобличительный. Вообще, русская сцена стала к началу века почти рупором революционной пропаганды. Так проявлялось саморазрушительное настроение этого времени: заходиться от злобы к самим себе, своему государству, правительству, церкви, школе, армии, полиции, семье, к своей истории, наконец. Разумеется, определенные интернациональные круги умело поддерживали, раздували эти настроения и умело ими дирижировали. На этой ядовитой почве возшла не одна успешная литературная карьера. И даже Чехов, много лет друживший с Сувориным, выдающимся патриотом-охранителем, не удержался, написал пасквиль на русскую гимназию — «Человек в футляре». Я не говорю уже об успехе «Воскресения» Л. Толстого, где почти открытым текстом провозглашалось: «Долой все! Всех заключенных освободить! Все суды распустить! Тюрьмы закрыть! Светское общество морально осудить! Обряды православной церкви разоблачить! Государство вообще отменить!» Русская просвещенная публика с восторгом пережевывала эту примитивную ересь как некое откровение. Русская церковь же заслуженно анафематствовала Толстого. Но кем была церковь в то время? Врагом «общества». Жалко, что Толстой не дожил до победы большевиков и не пережил того, что переживает его Нехлюдов по другому поводу: «Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно

вел себя в комнатах и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал». <...>

Горький, очень чуткий к тому, откуда дует ветер удачи, в своей драматургии, самом ходком и «громком» тогда литературном товаре, сделал беспроегрышную ставку: на оголтелое, подрывное изобличительство. И начал, конечно, с «мещан», с «мещанства». Конфликт этой первой пьесы Горького строится на противопоставлении «своих» и «чужих», «наших» и «не наших», где «чужие» и «не наши» олицетворяют мерзкое, отвратительное прошлое, а «свои» и «наши» — соответственно наступление новой жизни. Для «чужих», «не наших» и «прошлых» была уже готова позорная кличка — «мещане». Тем не менее образы хозяев-мещан Бессеменовых (фамилия, конечно говорящая) связаны с Горьким кровно, семейно. Бессеменов почти целиком списан с деда Горького — Василия Васильевича Каширина. Своему герою автор дал не только имя и отчество деда, но и его социально-профессиональный чин — «старшина малярного цеха». Жене Бессеменова автор присвоил соответственно имя и отчество бабушки — Акулины Ивановны. Здесь, кстати, очень любопытный и новый поворот в этом хрестоматийном сюжете: Алеша Пешков и его любвеобильная бабушка. В пьесе любовь Акулины Ивановны к своим детям так же уродлива, как и все, что исходит от «мещан». Какой контраст с образом бабушки в автобиографической прозе! Горький был очень неустойчив в своем отношении к миру и к людям, даже очень близким. Многие современники отмечали эту слабость, чуть ли не женственную податливость Горького разным, иногда взаимоисключающим настроениям. Ради революционного заказа, дающего успех, славу и деньги, Горький не пощадил даже имени бабушки! Этот перенос революционной ненависти на свою семью можно рассматривать как акт инициатический — отказ от своего кровного родства и — если угодно — отречение от своей веры.

Дети жадных, ограниченных, авторитарных горьковских «мещан» (Бессеменов-старший к тому же антисемит, а как же иначе, на то он и «мещанин»! Автор очень хорошо прочувствовал необходимость этого хода) — Петр и Татьяна — тоже «мещане». Чехов, прочитав пьесу, в письме Горькому довольно наивно советует автору: «Только не противопоставляйте его (Нила, — главный герой пьесы, олицетворение новой жизни. — *Е. К.*) Петру и Татьяне, пусть он сам по себе, а они сами по себе, все чудесные, превосходные люди, независимо друг от друга»⁴⁰. Это у Чехова в пьесах «все чудесные, превосходные люди, независимо друг от друга». Всех их можно понять, любить и простить. Все они наши, русские люди, пусть несовершенные, часто

⁴⁰ Цит. по: Горький М. Собр. соч. Т. XXVII. С. 583

слабые, иногда смешные, но достойные любви и сочувствия. А вот у Горького все «чужие», «не наши» — «мещане», «дачники», «варвары», «последние», в общем — «враги». Драматургия Горького вся пронизана ненавистью — это главное отличие его пьес от пьес Чехова. Противопологать «своих» и «чужих» — главный драматургический прием Горького.

Чтобы подчеркнуть подлость и низость молодого «мещанина», Петра, Горький использует очень эффектный прием, который трудно понять современному читателю и зрителю пьесы, — он не знает общественно-психологической атмосферы начала века. Петр признается, что совершил ошибку. Будучи студентом юридического факультета, он, уступая ложному чувству солидарности, участвовал в студенческих антиправительственных беспорядках. За это был исключен из университета и выслан на два года. Теперь Петр раскаивается в совершенном поступке и жалеет о напрасно потерянном времени. Такое публичное признание означало тогда то, что общественная репутация молодого человека была непоправимо испорчена. Товарищи-студенты могли не подать ему руки. Ему трудно было сделать после этого карьеру (как это ни парадоксально покажется, но это так, потому что либерально-диссидентским, антигосударственным и часто антирусским духом были заражены если не все, то многие правительственные учреждения). К тому же Петр иронизирует над деятельностью прогрессивных молодых интеллигентов (Шишкин, Цветаева), которые занимаются просвещением солдат и рабочих. Вердикт Горького однозначен: «мещанин», на свалку истории!

На свалку истории отправляется также сестра Петра, Татьяна. Здесь примешиваются другие мотивы, ницшеанские. Татьяна пытается покончить с собой, потому что слаба, ни во что не верит, нет воли к жизни. Никакого сочувствия к этой героине у Горького нет. Стремление к смерти у Татьяны для Горького естественно. «Нет воли жить — освободи место другим», — так говорит не Заратустра, конечно, а Горький, начитавшийся Ницше. Черствость Горького к самоубийцам можно объяснить, анализируя его собственную личность. Он, как известно, в юности стрелял в себя (см. «Случай из жизни Макара» — подробное и психологически достоверное автосвидетельство о попытке самоубийства). Если добавить к этому навязчивые галлюцинаторные видения, которые периодически посещали Горького (см. «О вреде философии»), контрастную переменчивость настроений, странное мифотворчество, которое в некоторых случаях можно диагностировать как патологическую склонность ко лжи (см. очерк Вл. Ходасевича о Горьком в его книге «Некрополь»), — мы увидим совсем новые штрихи в портрете проповедника душевной бодрости

и духовного здоровья. Горький был психически неустойчивым и неуравновешенным человеком. И свою слабость (покушение на самоубийство) он пытался вытеснить, преодолеть демонстративной черствостью и равнодушием к самоубийцам.

С хозяевами-мещанами все понятно. Но кто же настоящие герои в этой пьесе, кто воплощает будущее России. Главный герой здесь, конечно, Нил, машинист и кузнец, олицетворение душевного здоровья, бодрости и оптимизма — лубочный образ русского пролетария с обязательной красной подкладкой. Очень важно то, что Нил — приемный сын Бессеменовых, кровно он с ними не связан. Другие герои, противостоящие «мещанам»: Тетерев — певчий, недоучившийся семинарист, которого выгнали за то, что «хорошо учился» (горьковские парадоксы на немазанных колесах). Тетерев не может найти себе достойного места в жизни. То, что он имеет, его не устраивает: «Я могу найти себе место по способности только в балагане, на ярмарке...» Однако туда он особенно не спешит, занимаясь в основном нудным обличительством «мещан» и «мещанства». Напевающая «Марсельезу» веселая вдова Елена Кривцова. И, наконец, излюбленный персонаж Горького, чудак, профессиональный птицелов Перчихин со своей дочерью Полей (невестой Нила). Вся эта пестрая среда чудаков и неудачников создает фон для Нила, нового человека России.

